



Оскар Уайльд Портрет Дориана Грея



Оскар Уайльд

Портрет Дориана Грея

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

Уайльд О.

Портрет Дориана Грея / О. Уайльд — «Мультимедийное издательство Стрельбицкого»,

«Портрет Дориана Грея» - аллегорический роман, принадлежащий перу Оскара Уайльда (Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, 1854-1900), представителю английской литературы, ирландцу по происхождению.***Красота и молодость Дориана Грея не поддаются времени. Никто из окружающих не может разгадать эту тайну. Автор уверен, что Искусство свободно от морали, но сам себе противоречит: даже ради высшей красоты, нельзя безнаказанно убить свою совесть. И к Дориану приходит расплата. Среди творческого наследия Оскара Уайльда — пьесы, статьи об искусстве, сборников сказок. Популярно его произведение «Кентервильское привидение». Сочинения Оскара Уайльда — часть обязательной школьной программы. На страницах своих произведений Оскар Уайльд обличает лицемерие и несправедливость общественной морали, холодную расчетливость и корыстность большинства людей. Его настоящие герои искренни, способны на высокие чувства и поступки. Именно это подкупает современного читателя в произведениях короля жизни и самого великого остроумца XIX века.

© Уайльд О.

© Мультимедийное издательство
Стрельбицкого

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
I	6
II	14
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Оскар Уайльд

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Художник – это тот, кто создает красивые вещи.

Раскрыть художество и скрыть художника – такова у художества цель.

Критик – это тот, кто в новой манере, или пользуясь новым материалом, выразит свое впечатление от этих красивых вещей.

Критика, плохая и хорошая, всегда есть автобиография.

Так что те, кто видят развратное в прекрасном, сами развратны и притом не прекрасны. Это большой недостаток.

Находить в прекрасных вещах также и прекрасные идеи умеют люди культурные. Для них еще есть надежда.

И только для избранных прекрасные вещи исключительно означают красоту.

Нет ни нравственных, ни безнравственных книг. Есть книги, хорошо написанные, и есть книги, плохо написанные. Только.

Неприязнь девятнадцатого века к реализму – это ярость Калибана, видящего в зеркале свое лицо.

Неприязнь девятнадцатого века к романтизму – это ярость Калибана, не видящего в зеркале своего лица.

Чья-нибудь нравственная жизнь может порой оказаться сюжетом художника; однако вся нравственность художества – в совершенном применении несовершенных средств.

Ни единый художник не желает что-либо доказывать, ведь доказаны могут быть даже достоверные истины.

Ни у какого художника не бывает этических пристрастий. Этические пристрастия в художнике есть непростительная манерность стиля.

Болезненных художников нет. Художник может изображать все.

Мысль и язык для художника, – орудия его художества.

Порок и беспорочность для художника – материалы его художества.

В отношении формы, музыка есть первообраз всякого искусства. В отношении чувства, первообразом является лицедейство актера.

Всякое искусство одновременно есть и поверхность и символ.

Те, кто проникают глубже поверхности, сами ответственны за это.

Те, кто разгадывают символ, сами ответственны за это.

Ибо зрителя, а не жизнь, поистине отражает искусство.

Несогласие мнений о каком-нибудь создании искусства свидетельствует, что это создание ново, сложно и жизненно.

Если критики между собой не согласны, – художник в согласии с собою.

Мы можем простить человека, создающего полезную вещь, если сам он не восхищается ею. Единственное оправдание для создающего бесполезную вещь – это то, что каждый восхищается ею безмерно.

Все искусство совершенно бесполезно.

Оскар Уайльд.

1891 г.

I

Мастерская была пропитана пряным ароматом роз, и, когда легкое дуновение летнего ветерка проносилось в саду меж деревьями, в открытую дверь врывался удушливый запах сирени или тонкое благоухание розового шиповника.

Лежа в углу дивана, покрытого персидскими чепраками, и куря, но обыкновенно, одну за другою бесчисленные папиросы, лорд Генри Уоттон мог мельком улавливать сияние медвяно-сладких и медово-цветных лепестков альпийского раkitника, трепетные ветви которого, казалось, едва выдерживали тяжесть своей пламенно-яркой красоты; изредка по длинным шелковым занавесям громадного окна, создавая на мгновение эффект японской живописи, проносились фантастические тени пролетающих мимо птиц, заставляя лорда Уоттона думать о токийских желтолицых художниках, стремящихся выразить порыв и движение в неподвижном по своей природе искусстве. Дремотное жужжание пчел, то пробивавших себе дорогу в нескошенной высокой траве, то с однообразной настойчивостью кружившихся над пыльными, золочеными Усиками вьющейся лесной мальвы, как будто делали тишину еще более тягостной. Глухой гул Лондона доносился сюда, как басовые ноты далекого органа.

Посреди комнаты на мольберте стоял портрет молодого человека необыкновенной красоты во весь рост, а перед ним, немного поодаль, сидел и сам художник, Бэзил Холлуорд, внезапное исчезновение которого несколько лет тому назад вызвало в обществе так много шума и возбудило немало странных толков.

Когда художник взглянул на грациозную, красивую фигуру, так искусно отраженную его кистью, улыбка удовольствия появилась и как бы застыла у него на лице. Внезапно он вскочил и, закрыв глаза, прижал свои веки пальцами, будто стараясь удержать у себя в мозгу какой-то чудный сон, от которого он боялся проснуться.

– Это ваше лучшее произведение, Бэзил, лучшая из всех вами написанных картин, – проговорил лорд Генри томно, – Вы непременно должны выставить его в будущем году в Grosvenor Gallry. Академическая выставка слишком велика и вульгарна. Когда бы мне ни случилось там бывать, там всегда такое множество людей, что невозможно разглядеть картины, а это ужасно, или же такое множество картин, что нельзя разглядеть людей, а это еще ужаснее. Гросвенор, по-моему, единственное место для вас.

– Вернее всего, я не стану нигде выставлять эту вещь, – ответил Бэзил, закидывая голову назад по своей странной привычке, заставлявшей, бывало, его товарищей в Оксфорде¹ смеяться над ним. – Нет, я нигде не выставлю ее.

Лорд Генри поднял брови и в изумлении посмотрел на него сквозь прозрачно-голубые завитки дыма, причудливыми кольцами поднимавшиеся от его крепкой папиросы, пропитанной опиумом.

– Вы ее не выставите? Да почему же, милейший? По какой причине? Какие вы, художники, странные люди! Вы все на свете готовы сделать, чтобы добиться известности; а как только вы ее добьетесь, вы точно стараетесь от нее отвязаться. Это, по-моему, глупо, ибо что может быть на свете хуже того, что о человеке все говорят? Только одно: когда о нем молчат. А такой портрет, как этот, доставит вас головою выше всех молодых художников Англии, а старых преисполнит чувством зависти, если только старики вообще-то способны на какие-нибудь чувства.

– Я знаю, что вы будете надо мною смеяться, – ответил художник: – но я, право, не могу выставить этот портрет, Я вложил в него слишком много себя самого.

Лорд Генри растянулся на диване и засмеялся.

– Да, я знал, что вы будете смеяться; но, тем не менее, это так.

¹ Старинный английский университет.

– Слишком много себя самого! Честное слово, Бэзил, я не знал, что вы до того тщеславны; и я, право, не вижу никакого сходства между вами, – у вас такое суровое, сильное лицо и верные, как уголь, волосы, – и этим юным Адонисом, который словно сотворен из слоновой кости и лепестков розы. Ведь, дорогой мой Бэзил, он – Нарцисс, а вы... гм... конечно, у вас очень одухотворенное выражение лица и все такое; но красота, настоящая красота кончается там, где начинается одухотворенность. Интеллект сам по себе уже есть вид преувеличения, и он нарушает гармонию всякого лица. Как только человек начинает думать, у него лицо превращается в один сплошной нос, или лоб, или что-нибудь такое же ужасное. Посмотрите на выдающихся людей какой угодно ученой профессии. Как они все безобразны! Исключая, конечно, лиц духовных. Но те ведь никогда и не думают. Епископ и в восемьдесят лет обыкновенно повторяет то, что его учили говорить, когда он был мальчишкой восемнадцати лет, и естественно поэтому, что наружность его навсегда остается приятной. Ваш таинственный юный приятель, имени которого вы не сказали мне, но чей портрет меня прямо восхищает, наверное, не мыслит никогда. Я в этом совершенно уверен. Он – безмозглое, прелестное создание, и его надлежало бы всегда иметь здесь зимой, когда нет цветов, на которые можно смотреть, и летом, когда чувствуешь потребность охладить свои мысли. Пожалуйста, не льстите себе самому, милый Бэзил; вы ни капельки на него не похожи.

– Вы меня не понимаете, Гарри, – ответил художник. – Конечно, я не похож на него. Я это знаю прекрасно. И, право, я бы очень жалел, если бы оказался похож на него. Вы пожимаете плечами? Я говорю вам правду. Над всяким физическим или умственным превосходством тяготеет какой-то рок, тот самый, который на всем протяжении истории преследует нетвердую поступь царей. Лучше не отличаться от других. Уроды и дураки в этом мире всегда остаются в барышах. Они могут спокойно сидеть и празднично взирать на то, как играют другие. Если они не знают побед, зато не знают поражений. Они живут так, как все мы должны бы жить: невозможно, равнодушно, не зная тревог. Они никому не приносят гибели и сами не гибнут от вражеских рук. Ваше положение и богатство, Гарри; мой ум, каков бы он ни был, мое искусство, какова бы ни была ему цена; красота Дориана Грея – за все эти дары богов мы заплатим когда-нибудь страданием, страшным страданием.

– Дориан Грей? Его так зовут? – спросил лорд Генри, медленно переходя через всю мастерскую к Бэзилу Холлуорду.

– Да, его так зовут. Вам я не хотел называть его имя.

– Но почему же?

– О, этого я не могу объяснить. Видите ли, когда мне кто-нибудь очень нравится, я никогда никому не скажу его имени. Это почти то же самое, что отдавать его часть другим. Я научился любить таинственность. Ведь только она и может сделать для нас современную жизнь чудесной и загадочной. Всякий пустяк становится интересным, как только начинаешь его скрывать. Когда я теперь уезжаю из города, я никогда не сообщаю своим близким, куда я еду. Если бы я это сделал, все удовольствие поездки было бы для меня потеряно. Это глупая привычка, быть может, но она вносит каким-то образом значительную долю романтизма в жизнь. Конечно, вы все это считаете ужасно глупым?

– Вовсе нет, – ответил лорд Генри: – вовсе нет, дорогой Бэзил. Вы, кажется, забываете, что я женат, и что единственная прелесть брака состоит в том, что он делает жизнь, полную обманов, неизбежной для обеих сторон. Я никогда не знаю, где моя жена, а жена моя никогда не знает, что я делаю. При встрече – а изредка мы встречаемся, когда вместе обедаем где-нибудь, или бываем у герцога – мы рассказываем друг другу самые невероятные истории с самыми серьезными лицами. Моя жена хорошо это делает, в сущности, гораздо лучше, чем я. Она никогда не сбивается в числа, а я все всегда перепутаю. Но, когда ей случается меня поймать, она никогда не поднимает истории. Иногда мне даже хотелось бы, чтобы она рассердилась, но она только смеется надо мной.

– Терпеть не могу эту вашу манеру говорить о своей супружеской жизни, Гарри, – молвил Бэзил, подходя к дверям, ведущим в сад. – Я уверен, что вы на самом деле примерный муж, но что вы, в сущности, стыдитесь собственных своих добродетелей. Вы странный человек. Никогда не скажете ничего нравственного, но никогда не совершите ничего безнравственного. Ваш цинизм просто-напросто – поза.

– Быть естественным – поза, и самая раздражающая, какую только я знаю, – смеясь, возгласил лорд Генри.

Молодые люди вышли в сад и уселись на длинной бамбуковой скамейке, под тенью высокого лаврового куста. Лучи солнца скользили по гладкой листве деревьев. В траве дрожали белые маргаритки.

Они помолчали. Лорд Генри взглянул на часы.

– К сожалению, мне сейчас надо идти, Бэзил, – сказал он: – но я не уйду, пока вы не ответите мне на тот мой вопрос...

– Какой вопрос? – спросил Бэзил Холлуорд, не поднимая глаз от земли.

– Вы прекрасно знаете – какой.

– Нет, не знаю, Гарри.

– В таком случае я вам скажу. Я хочу, чтобы вы объяснили мне, почему вы не желаете выставить портрет Дориана Грея. Я хочу знать настоящую причину.

– Я сказал вам настоящую причину.

– Нет. Вы сказали, что вложили в этот портрет слишком много себя самого. Но ведь это ребячество!

– Гарри! – сказал Бэзил Холлуорд, глядя ему прямо в глаза. – Каждый портрет, написанный с чувством, есть, в сущности, портрет художника, а отнюдь не его модели. Модель – это просто случайность. Не ее раскрывает на полотне художник, а скорее самого себя. Потому-то я и не выставляю этот портрет, что боюсь, не раскрыл ли я в нем тайну своей собственной души.

Лорд Генри засмеялся.

– Что же это за тайна? – спросил он.

– Я скажу вам, – ответил Холлуорд; но выражение замешательства появилось у него на лице.

– Я весь ожидание, Бэзил, – продолжал его собеседник и посмотрел на него.

– О, говорить-то тут почти нечего, Гарри, – ответил художник. – Но вряд ли вы это поймете. А пожалуй, вряд ли и поверите.

Лорд Генри улыбнулся, наклонился и, сорвав в траве бледно-розовую маргаритку, принялся ее рассматривать.

– Я совершенно уверен, что пойму все, – возразил он, пристально разглядывая маленький, золотистый кружок, опушенный белыми лепестками: – что же касается веры, то я поверю чему угодно, лишь бы оно было совсем невероятно.

Порыв ветра стряхнул с деревьев несколько лепестков, а тяжелые гроздья сирени, мириады крошечных звездочек, заколыхались в сонном воздухе. Кузнечик затрещал у стены; и, словно синяя нить, длинная, тоненькая стрекоза пронеслась мимо на своих темных газовых крылышках. Лорду Генри показалось, что он слышит биение сердца Бэзиля Холлуорда, и он удивленно ждал, что будет дальше.

– Дело попросту вот в чем, – сказал через некоторое время художник, – Два месяца тому назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Вы знаете, мы, бедные художники, должны время от времени появляться в обществе только для того, чтобы напомнить людям, что мы не совсем дикари. Во фраке и белом галстуке, по вашему собственному выражению, всякий, даже биржевой маклер, может приобрести репутацию цивилизованного человека. Ну, вот, войдя в залу и поболтав минут десять с разными разодетыми титулованными вдовицами и скучными академиками, я вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я повернулся в пол-оборота и в

первый раз в жизни увидел Дориана Грея. Когда наши глаза встретились, я почувствовал, что бледнею. Странный ужас охватил меня. Я понял, что столкнулся с человеком, самая личность которого была так обаятельна, что, если бы я только поддался, она могла бы поглотить все мое существо, всю душу, даже самое мое искусство. Я не хотел, чтобы на мою жизнь кто-нибудь влиял со стороны. Вы ведь сами знаете, Гарри, насколько я независим по природе. Я всегда была, сам себе господин, по крайней мере, до встречи с Дорианом Греем. А тут... но я не знаю, как это вам объяснить... Что-то подсказало мне, что в моей жизни сейчас совершится ужасный какой-то перелом. Я как бы почувствовал, что судьба заготовила для меня изысканные радости и какие-то изысканные муки. Мне стало страшно, и я повернулся, чтобы покинуть комнату. Не совесть побудила меня так поступить, а скорее какая-то трусость. И я не могу поставить себе в заслугу это желание убежать.

– Совесть и трусость, право, одно и то же. Совесть – это лишь вывеска фирмы. Вот и все.

– Я этому не верю, Гарри; я даже не верю, что этому верите вы. Во всяком случае, каково бы ни было мое побуждение, – может быть, это была гордость, так как я всегда был очень горд, – я стал протискиваться к дверям. Но там я, конечно, натолкнулся на леди Брэндон. – «Вы не собираетесь ли убежать так рано, мистер Холлуорд?» – закричала она. Ведь вы знаете ее изумительно-резкий голос?

– Да, она – павлин во всех отношениях, только не в отношении красоты, – сказал лорд Генри, разрывая в клочки маргаритку своими тонкими, нервными пальцами.

– Я не мог от нее отделаться. Она стала подводить меня к высочайшим особам, разным сановникам в звездах и орденах, к старым дамам в гигантских диадемах и с такими носами, как у попугаев. Она говорила обо мне, как о своем лучшем друге. До тех пор я лишь однажды видел ее, но она во что бы то ни стало, желала, по-видимому, раздуть меня в знаменитость. Кажется, какая-то из моих картин имела в то время большой успех; по крайней мере, о ней кричали разные газеты, что в XIX веке должно служить мерилom бессмертия. Вдруг я очутился лицом к лицу с тем молодым человеком, внешность которого так странно поразила меня. Мы были близко, почти касались друг друга. Взоры наши встретились опять. Это было безрассудством с моей стороны, но я попросил леди Брэндон познакомить меня с ним. В конце концов, может быть, это и не было уж таким безрассудством. Это было просто неизбежно. Мы бы все равно заговорили друг с другом и безо всяких представлений. Я в этом уверен. Дориан мне потом сказал то же самое. Он также почувствовал, что нам суждено было встретиться.

– А что же говорила вам леди Брэндон об этом чудесном юноше? – спросил лорд Генри. – Я ведь знаю ее привычку давать беглый *précis* каждого из ее гостей. Помню, как она раз подвела меня к какому-то суровому, багрянолицему старцу, увешанному орденами и лентами, и начала шептать мне на ухо трагическим шепотом, слышным для всех присутствовавших, самые чудовищные о нем подробности. Я сбежал. Я люблю узнавать людей сам. Но бедная леди Брэндон обращается со своими гостями, как аукционер со своим товаром. Она рассказывает вам о них всякие ничтожные подробности, или же говорит вам все, кроме того, что бы вы хотели знать.

– Бедная леди Брэндон! Вы слишком жестоки к ней, Гарри, – ответил рассеянно Холлуорд.

– Мой милый, она пыталась основать салон, а ей удалось просто открыть у себя ресторан. Как же мне восторгаться ею? Но скажите мне, что она вам сообщила про Дориана Грея?

О, что-то в роде; «Прелестный юноша... мы были неразлучны с его бедной матерью... Я забыла, чем он занимается... боюсь, что ничем... ах, да! играет на рояле... или на скрипке, не так ли, дорогой мистер Грей?» Мы оба не могли удержаться от смеха и сразу стали друзьями.

– Смех – недурное начало для дружбы и, пожалуй, лучший конец для нее, – заметил лорд Генри, срывая другую маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

– Вы, Гарри, не понимаете ни дружбы, ни вражды. Вы любите всех равно, то есть вы ко всем равнодушны...

– Как ужасно вы несправедливы! – воскликнул лорд Генри, сдвигая на затылок шляпу и поглядывая вверх на маленькие тучки, что, подобно спутанным клубкам блестящего белого шелка, плыли мимо по бирюзовому куполу летнего неба. – Да, ужасно несправедливы! Я очень различаю людей. Я выбираю себе друзей за их внешность, знакомых – за их хорошую репутацию, и врагов – за их ум. Человек никогда не может быть достаточно осторожным в выборе своих врагов. У меня нет среди них ни одного дурака. Все они – люди с известными умственными достоинствами, и потому все они меня ценят. Разве это очень тщеславно с моей стороны? Мне кажется, это немного тщеславно.

– Мне это тоже кажется, Гарри. Но, согласно вашему определению, я, должно быть, у вас оказываюсь только простым знакомым.

– Любезнейший Бэзил, вы больше, чем просто знакомый.

– И меньше, чем друг. Нечто вроде брата, вероятно?

– Ну, братья! Я не очень-то их люблю! Мой старший брат никак не желает умереть, а младшие только это и делают.

– Гарри! – воскликнул, нахмурившись, Холлуорд.

– Милый мой, я ведь говорю не совсем серьезно. Но я не могу любить своих родственников. Я думаю, это происходит оттого, что мы не можем выносить людей с теми же недостатками, что и у нас самих. Я вполне сочувствую английской демократии в ее озлоблении против того, что она называет пороками высших классов. Народные массы чувствуют, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть их собственным достоянием, и что если кто-нибудь из нас делает глупость, то он посягает на их привилегии. Когда против бедного Саутворка был начат бракоразводный процесс, то ведь их негодование было просто бесподобно. А между тем я, но думаю, чтобы хоть десять процентов из людей низшего класса жило вполне нравственно.

– Я не согласен ни с одним словом из всего того, что вы сейчас говорили, Гарри; и даже более того, – я думаю, что и сами-то вы не согласны с собою.

Лорд Генри погладил острую темную бородку и постучал по своим лакированным башмакам кончиком эбеновой трости, украшенной кисточками.

– Какой вы типичный англичанин, Бэзил. Вы вторично делаете одно и то же замечание. Если кто-нибудь развивает какую-нибудь мысль пред англичанином, – что всегда неосторожно, – последний никогда не задается вопросом, правильна она или нет. Единственно, что ему важно, это верит ли сам человек в то, что он говорит. А между тем ценность какой-нибудь мысли никогда не зависит от искренности человека, который ее высказывает. Наоборот, по всей вероятности, чем меньше у человека искренности, тем разумнее должна быть сама мысль, так как в таком случае она не отражает ни его желаний, ни его нужд, ни его предрассудков. Но я не собираюсь обсуждать с вами политические, социологические или метафизические вопросы. Я больше люблю людей, чем принципы, а людей без принципов больше всего на свете. Расскажите мне еще о Дориане Грее. Часто вы с ним видитеесь?

– Ежедневно. Я не чувствовал бы себя счастливым, не встречаясь с ним каждый день. Он абсолютно мне необходим.

– Как странно! Я не думал, что когда-либо вы будете любить что-нибудь, кроме вашего искусства.

– Он теперь для меня – само искусство, – серьезно сказал художник. – Порою я думаю, Гарри, что в истории человечества есть только две мало-мальски значительные эры. Первая – это открытие нового средства выражения в искусстве, и вторая – появление новой индивидуальности в искусстве же. Со временем лицо Дориана Грея будет для меня иметь то же значение, какое для венецианцев имело открытие масляных красок, или для позднейшей греческой скульптуры – лицо Антиноя. Я не только рисую, пишу с Дориана, – конечно, я все это уже

проделал. Нет, он для меня больше, чем простая модель. Я не скажу, будто я недоволен тем, как я его написал, или будто его красота такова, что она не поддается искусству. В сущности, на свете нет ничего, что не может быть выражено искусством; и я знаю, что все, написанное мною после встречи с Дорианом Греем, – хорошо, и даже лучше всего, что я сделал за всю мою жизнь. Но каким-то странным образом – не знаю, поймете ли вы меня – его индивидуальность внушила мне совершенно новую манеру в искусстве, совершенно новый стиль. Я вижу вещи иными, познаю их иначе. Теперь я могу воссоздать жизнь в таких формах, которые раньше были скрыты от меня. «Греза о форме во дни размышлений» – кто это сказал? Не помню; но вот чем для меня стал Дориан Грей. Уж одно присутствие этого мальчика – мне он кажется почти мальчиком, хотя ему уже за двадцать... – одно уж его присутствие... ах! не знаю, можете ли вы себе представить все значение этого? Он бессознательно выясняет для меня контуры новой школы, в которой должны слиться вся страстность романтизма и все совершенство классицизма. Гармония души и тела, – как это много. В нашем безумии мы разлучили эти две сущности и выдумали вульгарный реализм и пустой идеализм. Гарри! Если бы вы только знали, что такое для меня Дориан Грей! Помните мой пейзаж, за который Аня предлагал мне такую высокую цену, а я не хотел с ним расстаться? Это одна из лучших моих вещей. А почему? Потому что, когда я писал ее, Дориан Грей сидел рядом со мной. Какая-то неуловимая мне сила передалась от него, и я впервые в жизни увидел в обыкновеннейших деревьях – чудо, которого я постоянно и напрасно искал.

– Бэзил, это поразительно. Я должен видеть Дориана Грея.

Холлуорд встал и быстро зашагал взад и вперед по саду. Немного погодя он вернулся.

– Гарри, – сказал он: – Дориан Грей для меня – вдохновение в искусстве. Вы, может быть, ничего в нем не увидите. Я вижу в нем все. Нигде его влияние не выражается так сильно, как в тех произведениях, где его собственный образ отсутствует. Просто, как я уже говорил, он внушает мне новую манеру, новый стиль. Я нахожу его в изгибе некоторых линий, в прелести и нежности некоторых тонов. Вот и все.

– Тогда почему же вы не хотите выставить его портрет? – спросил лорд Генри.

– Потому что, сам не сознавая, я вложил в него какое-то проявление того странного художественного идолопоклонства, о котором я, конечно, никогда не заговаривал с ним. Он ничего об этом не знает. Он никогда ничего не узнает об этом. Но люди могут догадаться; а я не обнажу своей души перед их пустым и любопытным взором. Я никогда не подставляю своего сердца под их микроскоп. В этой картине слишком много меня самого, Гарри, слишком много меня самого.

Поэты не так щепетильны, как вы. Они знают, насколько страсть полезна для распространения книги. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий.

– Я их ненавижу за это! – воскликнул Холлуорд. Художник должен создавать прекрасные произведения, но не должен в них вкладывать ни частицы своей личной жизни. Мы живем в такой век, когда люди смотрят на искусство, как на какую-то автобиографию. Мы забыли, что такое отвлеченное чувство красоты. Если мне суждено еще прожить, я покажу людям, каково оно, и потому мир никогда не увидит моего портрета Дориана Грея.

– Мне кажется, вы неправы, Бэзил; но я не буду с вами спорить. Только люди умственно несостоятельные спорят. Скажите мне, Дориан Грей очень привязан к вам?

Художник на несколько мгновений задумался.

– Он меня любит, – ответил он, помолчав немного: – я знаю, он меня любит. Конечно, я ему говорю много лестного. Я нахожу странное удовольствие говорить ему такие слова, о которых потом сожалею. А он, в общем, очень мил со мною, и мы часто сидим у меня в мастерской, беседуем о тысяче разных вещей. Но иногда он бывает ужасно небрежен, и ему, кажется, доставляет истинное удовольствие огорчать меня. Тогда, Гарри, я чувствую, что отдал всю свою душу человеку, обращающемуся с ней не лучше, чем с каким-нибудь цветком, который можно

сунуть в петлицу своего сюртука, или с каким-нибудь значком, удовлетворяющим его тщеславию, или с развлечением для летнего дня.

– Летние дни бывают продолжительны, Бэзил, – проронил лорд Генри. – Быть может, он вам прискутит раньше, чем вы ему. Это, конечно, печально; но ведь гений несомненно, долговечнее красоты. Этим именно объясняется наше стремление стать как можно более образованными. В дикой борьбе за существование мы хотим иметь на своей стороне что-нибудь непреходящее, и потому загромождаем свой ум всяким вздором и всякими фактами, в глупой надежде удержать позицию за собой. Прекрасно осведомленный человек – вот современный идеал. А ум прекрасно осведомленного человека – ужасная вещь. Это как лавка антиквария: всюду разные чудища и пыль, и все оценивается выше своей настоящей цены. И все-таки я думаю, что вы утомитесь первый. В один прекрасный день вы посмотрите на Дориана Грея, и он покажется вам не совсем подходящей моделью; или вам не понравятся его тоне, или еще что-нибудь. Вы станете горько упрекать его в глубине души и будете серьезно думать, что он нехорошо с вами поступил. В следующий его приход вы будете совершенно холодны и равнодушны. Будет очень жаль, так как вы переменитесь. То, что вы мне рассказали, – совсем роман, художественный роман, как можно было бы назвать его, а самое худшее во всяком романе – это то, что он делает человека совершенно неромантичным.

– Гарри, не говорите так! Пока я жив, образ Дориана Грея будет властвовать надо мною. Вы не можете чувствовать того, что чувствую я. Вы сами так часто меняетесь.

– Ах, дорогой Бэзил, вот именно потому-то я и могу это чувствовать. Тот, кто верен неизменно, знает лишь легкомысленные стороны любви: только те, кто изменяют, познают ее трагедии.

Лорд Генри достал спичку из серебряной, изящной спичечницы и с самодовольным видом закурил папиросу, как будто он подвел единой фразой итог всему мирозданию. В зеленой, точно лакированной листве плюща с чириканьем вспорхнули воробьи, и синие тени облаков, словно ласточки, гонялись по траве друг за другом. Как хорошо в саду! И как очаровательны людские чувства, гораздо больше, чем мысли, – так казалось лорду Генри. Собственная душа и страсти друзей – вот самые очаровательные вещи на свете. Он представил себе, смеясь, скучный завтрак, который он прозевал, засидевшись у Бэзиля Холлуорда. Если б он отправился к своей тетке, он, наверное, встретил бы там какого-нибудь лорда Гудбоди, и весь разговор вертелся бы на пище для бедных и на необходимости устройства образцовых дешевых квартир. Каждый класс проповедовал бы те добродетели, в которых не нужно упражняться ему самому. Богачи говорили бы о ценности бережливости, а бездельники красноречиво доказывали бы благородство труда. Как приятно было избавиться от всего этого! При воспоминании о тетке, его как будто осенила какая-то мысль. Он обернулся к Холлуорду и сказал:

– Мой друг, я сейчас припомнил.

– Что, Гарри?

– Где я слышал имя Дориана Грея.

– Где же? – спросил Холлуорд, слегка нахмурившись.

– Не глядите так сердито, Бэзил. Это было у моей тетки, леди Агаты. Она сказала мне, что открыла чудесного юношу, который обещал помочь ей в Ист-Энде, и что зовут его Дориан Грей. Я должен добавить, что она никогда не говорила мне о его красоте. Женщины не умеют ценить красивую внешность, по крайней мере – добродетельные женщины. Она говорила, что он очень серьезен и отзвучив. Я сразу представил себе существо в очках, с жидкими волосами, в ужасных веснушках и на длинных, нескладных ногах. Жалко, что я не знал, что это и есть ваш друг.

– Я очень рад, что вы не знали этого, Гарри.

– Почему?

– Я не хочу, чтобы вы с ним познакомились.

– Вы не хотите, чтоб я с ним познакомился?

– Нет.

– Мистер Дориан Грей в мастерской, сэр, – доложил, сойдя в сад, дворецкий.

– Теперь уж вам придется меня с ним познакомить! – со смехом заметил лорд Генри.

Художник обернулся к слуге, который стоял, щурясь от солнца.

– Донник, всем моим существом завишу от него. Знайте, Гарри, я доверяю вам.

Холлуорд говорил очень медленно, и слова, казалось, срывались с его губ почти против воли.

– Что за глупости вы говорите! – сказал лорд Генри с улыбкой и, взяв под руку Холлуорда, почти силой повел его в дом.

II

Войдя в комнату, они увидели Дориана Грея. Он сидел за роялем, спиной к вошедшим, и перелистывал ноты «Waldscenen» Шумана.

– Вы непременно должны дать мне проиграть это, Бэзил! – воскликнул он. – Я хочу их разучить, они восхитительны!

– Это вполне зависит от того, как вы будете сегодня позировать, Дориан.

– Ох, мне надоело позировать, и мне вовсе не надобен портрет в натуральную величину, – ответил юноша, своенравно и шаловливо поворачиваясь на своем табурете.

При виде лорда Генри легкая краска смущения покрыла на мгновение его щеки, и он вскочил.

– Простите, Бэзил, – сказал он: – я не знал, что вы не одни.

– Это лорд Генри Уоттон, мой старый приятель по Оксфорду. Я только что рассказывал ему, как вы прекрасно позируете, а вы взяли да все и испортили.

– Вы во всяком случае не испортили мне удовольствия встретиться с вами, мистер Грей, – сказал лорд Генри, подходя к юноше и пожимая ему руку. – Я много слышал о вас от моей тетки. Вы – один из ее любимцев и, боюсь, в то же время и одна из ее жертв.

– В настоящее время я в немилости у леди Агаты, – ответил Дориан с игриво-покаянным видом. – Я обещал ей, что пойду с нею во вторник куда-то в Уайтчепельский клуб², и совсем позабыл про это. Мы должны были играть в четыре руки, даже, кажется, три пьесы в четыре руки. Не знаю, что она мне скажет при встрече. Я боюсь теперь заезжать к ней!

– Я помирю вас с тетушкой. Она совершенно в восторге от вас. Да я и не думаю, чтобы ваше отсутствие было очень заметно. Публике, наверное, казалось, что играли в четыре руки. Раз тетя Агата усядется за рояль, то уж она шумит за двоих.

– То, что вы говорите о ней, – ужасно и не очень лестно для меня, – смеясь, ответил Дориан.

Лорд Генри взглянул на него. Да, без сомнения, он был необычайно прекрасен. Его алые губы так тонко очерчены; у него открытые голубые глаза и мягкие, золотистые кудри. В его лице было что-то, сразу вызывавшее доверие; в нем сквозила вся непорочность и пылкая чистота юности. Чувствовалось, что жизнь еще не успела загрязнить его. Неудивительно, что Бэзил Холлуорд боготворил его.

– Вы слишком прекрасны, чтобы пускаться в благотворительность, мистер Грей, – да, слишком прекрасны.

Лорд Генри бросился на диван и открыл свой портсигар. Холлуорд был занят приготовлением кистей и красок и имел тревожный вид; услышав же последнее замечание лорда Генри, он взглянул на приятеля и, после легкого колебания, сказал:

– Гарри, мне бы хотелось сегодня закончить свою работу. Вы не очень рассердитесь, если я попрошу вас уйти?

Лорд Генри улыбнулся и взглянул на Дориана Грея.

– Уйти мне, мистер Грей? – спросил он.

– О, пожалуйста, не уходите, лорд Генри! Я вижу, что Бэзил сегодня опять в мрачном настроении, а я терпеть не могу, когда он мрачен. Кроме того, я хочу, чтобы вы объяснили мне, почему я не должен пускаться в благотворительность.

– Не знаю, скажу ли я вам это, мистер Грей. Что такая скучная тема, что о ней пришлось бы говорить серьезно. Но я, конечно, не уйду теперь, раз вы просите меня остаться. Ведь вам

² Уайтчепель – часть Лондона, заселенная беднотой.

это, в сущности, безразлично, Бэзил, не правда ли? Вы часто говорили мне, что любите, когда кто-нибудь занимает того, кто вам позирует.

Холлуорд закусил губу.

Если Дориан желает этого, то вы, конечно, должны остаться. Капризы Дориана всегда бывают законом для всех, кроме него самого.

Лорд Генри взял за шляпу и перчатки.

– Вы очень любезны, Бэзил, но, к сожалению, я должен идти. Я обещал встретиться с одним господином в Орлеанском клубе. До свиданья, мистер Грей. Загляните как-нибудь ко мне на Кёрзон-стрит. Я почти всегда дома около пяти часов. Предупредите меня запиской, когда соберетесь зайти. Мне было бы обидно, если бы вы меня не застали.

– Бэзил, – закричал Дориан Грей: – если лорд Генри Уоттон уйдет, то и я уйду. Вы никогда рта не открываете во время работы, а стоять на подмостках, стараясь казаться радостным, ужасно скучно. Попросите его остаться, я настаиваю на этом!

– Оставайтесь, Гарри, вы этим обяжете Дориана и меня, – произнес Холлуорд, пристально вглядываясь в свою картину. – Совершенно верно, я не разговариваю во время работы и не слушаю того, что мне говорят. Это должно быть ужасно скучно для моих несчастных моделей. Я очень прошу вас остаться.

– Но что же будет с моим господином в Орлеанском?

Художник рассмеялся.

– Не думаю, чтобы с этой стороны явилось затруднение. Садитесь снова, Гарри. А теперь, Дориан, взойдите на подмостки и не шевелитесь так много... а также... но обращайтесь внимания на то, что будет говорить лорд Генри. Он имеет дурное влияние на всех своих друзей, исключая меня одного.

Дориан взойшел на подмостки с видом юного греческого мученика и сделал легкую гримасу неудовольствия лорду Генри, к которому он начинал чувствовать симпатию. Он был так не похож на Холлуорда. Они составляли очаровательный контраст. И у него был такой певучий голос. Несколько минут спустя Дориан спросил:

– Правда, что вы имеете дурное влияние на всех, лорд Генри? Настолько дурное, как уверяет Бэзил?

– Такой вещи, как хорошее влияние, вообще не существует, мистер Грей. Всякое влияние безнравственно, – безнравственно с научной точки зрения.

– Почему?

– Потому что влиять на кого-нибудь, – значит вселять в него свою душу. Человек тогда перестает мыслить своими собственными мыслями и гореть своими собственными страстями. Добродетели уже не его собственные. Его пороки – если только пороки вообще существуют – заимствованы. Он становится отзвуком чужой песни, исполнителем роли, написанной не для него. Цель жизни – само-развитие. Выразить во всей полноте свою сущность – вот зачем каждый из нас живет. Но в наши дни человек боится себя самого. Он забыл высшую из всех обязанностей – обязанность к самому себе. Конечно, люди все очень отзывчивы; они кормят голодного, одевают нагого. Но собственные их души и наги и голодны. Смелость вымерла в нашей расе. Может быть, ее и не было в нас никогда. Страх перед светом, лежащий в основе морали, страх перед Богом, составляющий тайну религии, – вот два начала, которые нами управляют. И все-таки...

– Будьте умницей и поверните голову немного направо, Дориан, – сказал погруженный в работу Холлуорд, заметивший только, что во взгляде у юноши появилось такое выражение, которого он прежде никогда не замечал.

– И все-таки, – продолжал лорд Генри своим низким музыкальным голосом, с тем характерным, грациозным жестом руки, который был ему свойствен еще в годы пребывания в Итоне: – я думаю, что если бы кто-нибудь жил полной и совершенной жизнью, давая форму

каждому своему чувству, выражение каждой своей мысли, воплощая каждую мечту, – я думаю, что мир получил бы такой свежий импульс радости, что мы забыли бы все недуги средневековья и вернулись бы к эллинскому идеалу – или, может быть, к чему-то более утонченному и прекрасному, чем эллинский идеал. Но самый смелый из нас боится себя самого. Наше самоотречение – трагический пережиток былого самоистязания дикарей. Как оно искажает нашу жизнь! И как мы бываем наказаны за все наши отречения: каждое побуждение, которое мы стараемся задушить, переходит к нам в мозг и отравляет нас. Тело грешит однажды и сейчас же расплачивается за свой грех, ибо в самом грехе заключается искупление. Ничего потом не остается, кроме воспоминания о наслаждении или роскошь сожаления. Единственный способ отделаться от искушения – поддаться ему. Стоит только оказать сопротивление, и душа занемогает влечением к запретному и начинает порываться к тому, что ее же чудовищные законы сделали запретным и чудовищным. Сказано, что величайшие в мире события творятся в мозгу. В мозгу, и только в мозгу, совершаются и величайшие в мире согрешения. И в вас самих, мистер Грей, в вашей ало-розовой юности, в белом сиянии вашего отрочества, в вас бродили уже страсти, от которых вы содрогались, мысли, преисполнявшие вас ужасом, грезы наяву и грезы во сне, одно воспоминание о которых могло зажечь краской стыда ваши щеки.

– Стойте! – пробормотал Дориан Грей. Стоите. Вы меня ошеломляете. Я не знаю, что сказать. На ваши слова должен быть какой-то ответ, но я не могу найти его. Не говорите больше. Дайте мне подумать, или, вернее дайте мне попытаться не думать!

В течение почти десяти минут он стоял без движения с полураскрытыми устами, и глаза его странно блеснули. Он смутно сознавал, что совершенно новые влияния начали проявляться в нем, и ему казалось, что они исходят от него самого. Несколько слов, брошенных другом Бэзиля, без сомнения, случайных, но намеренно ортодоксальных, затронули в нем какую-то тайную струнку, до которой еще никто никогда не дотрагивался, но которая – он теперь это чувствовал – дрожала и прерывисто билась.

Раньше его так волновала музыка. Она не раз пробуждала в нем тревогу. Но в музыке нет определенности. Не новый мир создает она в нас, а скорее новый хаос. Слова! Просто слова! Но как они были ужасны! Как ясны, ярки и как жестоки! От них нельзя убежать! И какие в них были тонкие чары! Они, казалось, могли облечь расплывчатые образы в пластичные формы, в них звучала своя особая мелодия, столь же сладкая, как мелодия скрипки, лютни... Просто слова! Да разве есть что-нибудь столь реальное, как слова?

Да, в его отрочестве были вещи, которых он раньше не понимал. Он понял их теперь. Жизнь вдруг окрасилась для него огненными красками. Ему казалось, что он ходит среди пламени. Почему же раньше он не давал себе в этом отчета?..

Лорд Генри с тонкой улыбкой наблюдал за Дорианом. Он умел точно схватить психологический момент, когда следовало молчать. Он был сильно заинтересован. Он был изумлен тем внезапным впечатлением, какое произвели его слова; ему припомнилась одна книга, прочитанная в шестнадцать лет, книга, открывшая ему многое, чего он раньше не знал. Теперь он спрашивал себя, не испытывает ли и Дориан Грей то же самое? Он метнул стрелу просто в воздух. Неужели она попала в цель? Как очарователен был юноша!

Холлуорд писал своими чудесными, смелыми мазками, в которых сказывалась истинная утонченность и безукоризненная мягкость, что в искусстве, по крайней мере, служит признаком силы. Он не заметил наступившего молчания.

– Бэзиль, я устал стоять! – воскликнул вдруг Дориан Грей. – Я хочу выйти посидеть в саду. Здесь ужасно душно.

– Простите, милый. Когда я пишу, я ни о чем другом не могу думать. Но вы никогда так хорошо не позировали. Вы ни разу не шелохнулись. И я схватил эффект, которого добивался: полураскрытые губы и пылающие глаза. Не знаю, что вам тут говорил Гарри, знаю только, что

он вызвал у вас на лице удивительное выражение. Вероятно, он расточал вам комплименты. Вы не должны верить ни одному его слову.

– Он безусловно не говорил мне комплиментов. Может быть, потому-то я и не верю ни одному его слову.

– Вы отлично знаете, что верите каждому слову, – проговорил лорд Генри, устремляя на юношу свои мечтательные, томные глаза. – Я пойду с вами в сад. В мастерской, действительно, страшно жарко. Бэзил, велите нам дать чего-нибудь прохладительного, ну, чего-нибудь с земляникой, что ли...

– Хорошо, Гарри. Позвоните, и, когда придет Паркер, я прикажу ему подать, что вам нужно. Мне надо еще поработать над фоном, и я приду к вам немного погодя. Не задерживайте Дориана слишком долго. Я еще никогда не был в таком рабочем настроении, как сегодня. Это будет мой шедевр. Да и в таком виде это уже шедевр.

Лорд Генри вышел в сад и увидал, что Дориан уткнулся лицом в большие свежие грозди сирени и лихорадочно, точно вином, упивается их свежим ароматом. Он подошел к Дориану и положил ему руку на плечо.

– Вот так и надо, – тихо сказал он. – Ничто так не может исцелить душу, как чувства, точно так же, как чувства исцелит душа.

Юноша вздрогнул и отступил на шаг. Он был без шляпы, и листья растрепали его непокорные кудри, перепутав их золотые пряди. В глазах у него был испуг, как г, у внезапно пробужденного от сна человека. Тонко перченые ноздри его подергивались, а какой-то скрытый нерв коснулся алости его губ, и они задрожали.

– Да, продолжал лорд Генри, – это одна из великих тайн жизни: исцелять душу чувствами, а чувства душою. Вы – удивительное создание. Вы знаете больше, чем вам кажется, но меньше, чем хотели бы знать.

Дориан Грей нахмурился и отвернулся. Ему не мот не нравится этот высокий, изящный молодой человек, стоявший подле него. Это романтическое, оливкового цвета лицо с усталым выражением привлекало его. В низком, томном голосе лорда Генри было что-то безусловно чарующее. Даже руки его, свежие и белые, похожие на цветы, таили в себе какое-то странное обаяние. Когда он говорил, они двигались, словно звуки музыки, и, казалось, имели свой собственный язык. Но Дориан чувствовал страх перед этим человеком и стыдился своего страха. Зачем нужно было, чтобы чужой человек раскрыл ему его самого? Бэзиля Холлуорда он знал уже несколько месяцев, но дружба их в нем ничего не изменила. И вот вдруг на его жизненном пути встречается человек, который как будто бы раскрывает перед ним тайну жизни... И все-таки, чего же тут бояться? Ведь он не школьник и не девочка! Нелепо было бояться.

– Пойдемте, сядем в тени, – сказал лорд Генри. Паркер уже принес питье; а если вы будете слишком долго стоять на этом солнцепеке, вы подурнеете, и Бэзил не захочет больше вас писать. Право, вы не должны загорать, это будет вам к лицу.

– Это не важно! – воскликнул Дориан, со смехом садясь на стул в конце сада.

– Для вас это должно быть очень важно, мистер Грей.

– Почему?

– Потому что вы – обладатель чудеснейшей юности, а юность – единственная ценность, которую стоит иметь.

– Я этого не чувствую, лорд Генри.

– Теперь вы этого не чувствуете. Но когда-нибудь наступит время, когда и вы сделаетесь старым, морщинистым и некрасивым, когда думы избородят ваше чело, а страсти иссушат ваши губы своим пожирающим пламенем, – тогда вы почувствуете это, очень почувствуете. Теперь, куда бы вы ни явились, вы всех очаровываете. Но разве это всегда будет так?.. У вас удивительно красивое лицо, мистер Грей. Не хмурьтесь; это верно. А красота – форма гения, и даже выше, чем гений, потому что она не требует объяснения. Она – одно из великих явлений

мира, как солнце, или весна, или отражение в темных водах той серебряной раковины, что мы называем луною. Тут не может быть сомнения. За красотой высшие права на власть. Она делает царями тех, кто ею обладает. Вы улыбаетесь? Ах! Когда вы потеряете ее, вы не будете больше улыбаться! Люди иногда говорят, что красота лишь поверхностна. Может быть, это и так. Во всяком случае, она менее поверхностна, чем мысль. Для меня красота – это чудо из чудес. Только ограниченные люди не судят по внешности. Настоящая тайна мира заключается в видимом, а не в невидимом. Да, мистер Грей, боги были к вам милостивы. Но дары их недолговечны. Перед вами немного лет для жизни настоящей, совершенной, полной. Когда пройдет ваша юность, пройдет и красота вместе с нею; и тогда вы вдруг откроете, что для вас не останется больше побед, или же что вам придется ограничиться теми жалкими победами, которые при воспоминании о вашем прошлом убудут вам казаться горше всяких поражений. Каждый месяц будет все приближать вас к чему-то ужасному... Время ведь ревнует вас и ведет войну с теми лилиями и розами, которыми вы одарены. Лицо ваше пожелтеет, щеки ввалятся, глаза потускнеют. Вы будете ужасно страдать... Ах! Пользуйтесь же вашей юностью, пока она еще не ушла. Не расточайте золота ваших дней, слушая скучных людей, стараясь исправить безнадельных или отдавая свою жизнь невеждам, пошлякам и мещанам. Все это – болезненные цели и ложные идеалы нашего века. Живите! Живите той чудной жизнью, что скрыта в вас! Пусть ничто для вас не пропадает. Вечно ищите новых ощущений. Не бойтесь ничего...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.